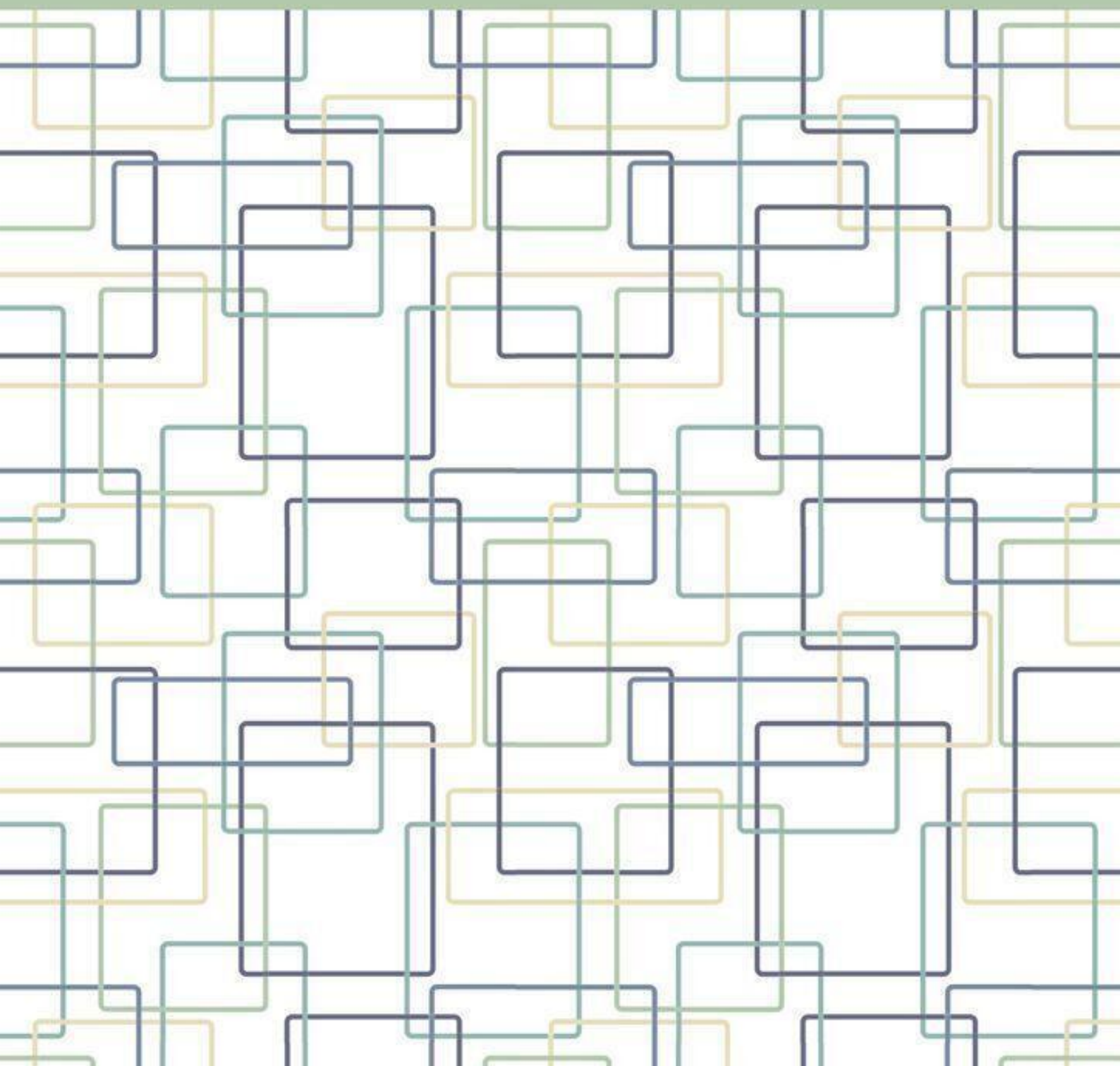


18+

Арина Лорель

Склеп Проклятых Графов



Арина Лорель

Склеп Проклятых Графов

«Издательские решения»

Лорель А.

Склеп Проклятых Графов / А. Лорель — «Издательские решения»,

Вена, 1791 год. Юная Изольда фон Лорбах, осиротевшая после загадочной смерти отца, становится пешкой в игре своего дяди — могущественного графа Ференца Заборского. Он предлагает ей брак, но за этим стоит не союз, а древнее проклятие, которое веками тяготеет над его родом. Говорят, что каждый третий граф убивает свою жену в припадке безумия, а его замок Шварценштейн стоит на соляных копиях, где живут голоса мёртвых.

© Лорель А.

© Издательские решения

Содержание

Склеп Проклятых Графов	6
Глава 2	12
Глава 3	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Склеп Проклятых Графов

Арина Лорель

© Арина Лорель, 2026

ISBN 978-5-0071-3794-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Склеп Проклятых Графов

Глава 1

Вена, июль 1791 года. Грабен-штрассе тонет в сизых сумерках, пропитанных влажной известью, прелой листвой тополей и горьковатым дымком из труб окрестных пекарен. В особняке барона фон Лорбах теплится единственный огарок — свеча в канделябре у изголовья умирающей надежды. Остальные окна черны, как зрачки мертвеца, и лишь редкие вспышки молнии вырывают из тьмы мокрые фронтоны да хмурые фигуры прохожих, что торопятся укрыться от непогоды в харчевнях и подворотнях.

Ливень хлестал по свинцовому кровельному настилу так неистово, будто некто незримый, огромный и глухой к людским мольбам, перетасовывал костяшки домино на плоской столешнице небосвода. Струи срывались с водосточных желобов, разбивались о брусчатку, взметая мельчайшую взвесь — не солёную, конечно, нет, это лишь игра уставшего рассудка, но Изольда фон Лорбах, стоя на коленях перед почерневшим распятием в углу опочивальни, никак не могла стряхнуть с языка эту призрачную горечь. Она жила на кончике её языка уже третью неделю — с того самого дня, когда в Вену доставили письмо из Трансильвании, пропахшее можжевельником и чем-то затхлым, чем-то могильным.

Послание было скреплено чёрным сургучом с оттиском герба — разорванная цепь. Изольда не видела его собственными глазами (отец тщательно прятал его в потайном ящике, ключ от которого носил на шее, даже не снимая в бане), но кожей чувствовала: бумага дышит, ждёт, вытягивает из воздуха тепло. Ей казалось, что по ночам, когда дом погружался в сон, сургуч начинал тихо потрескивать, словно в нём зарождался крошечный пожар. Она знала: отец перечитывает письмо при свете украденной свечи, когда уверен, что дочь спит. Ей были слышны его шаги — грузные, сбивчивые, шаги человека, который внезапно осознал, что вся его жизнь — лишь долгая разминка перед чужим, куда более жестоким представлением.

— Господи, — шептала Изольда, сжимая деревянное распятие так, что терновый венец впивался в мягкую плоть ладони, оставляя алые полумесяцы. — Если Ты существуешь, если Ты внимлешь мне — ответь, зачем мне эту жертву приносить? Почему именно я? Что я сделала, кроме того что родилась женщиной в этом доме?

Распятие безмолвствовало. Как всегда. В детстве девочка верила, что Всевышний говорит с ней через ветер, что шелестит в кронах старых лип, или через шорох страниц в отцовской библиотеке, где пахло пылью и кожей. Но теперь, на семнадцатом году, она поняла горькую истину: Бог избрал языком молчание. Или, быть может, запах мокрой шерсти, который тянуло с улицы от городской бойни, где местный мясник, старый хрыч с ножом в вечно дрожащей руке, свеживал очередную овцу, и её предсмертный крик смешивался с раскатами грома. «Господь не говорит, — подумала Изольда. — Он просто оставляет нас наедине с последствиями».

Она поднялась с колен, чувствуя, как иголки онемения впиваются в икры. Пол был ледяным — старые дубовые доски, помнившие ещё правление Леопольда Первого, не держали тепла. Они стонали под ногами, как старые кости. Изольда накинула на плечи шаль, вышитую матерью за полгода до смерти. Та была из тонкой кашемирской пряжи, с узором из виноградных лоз, но при скудном, дрожащем свете огарка лозы превращались в сплетённых гадюк, чьи тела тянулись в бесконечный, душастый клубок.

«Воображение, — одёрнула она себя, кусая губу до солоноватого привкуса. — Одно воображение. Как и призраки, как и проклятия, в которые так охотно верит дядя Ференц. Нет ни чудовищ, ни демонов, ни знамений. Есть только люди, алчные, как волки, и глупые, как овцы».

Граф Ференц Заборский, её дядя по материнской линии, являл собой нечто среднее между волком и овцой. Изольда видела его всего дважды: впервые — на похоронах матери, когда он стоял в углу траурного зала, подобный чёрной статуе, и не обронил ни слезы, ни слова, лишь брезгливо морщился, глядя на рыдающих родственников; второй — неделю назад, когда он ворвался в их дом внезапно, как гром среди ясного неба, сбивая с ног слуг и громко топая сапогами по паркету. Тогда он произнёс отцу одну-единственную фразу, от которой барон побелел, как полотно, и не мог вымолвить ни слова целых двое суток. С тех пор он пил только воду и молчал.

«Она поедет со мной», — вот всё, что сказал граф. И ни слова более. Ни объяснений, ни угроз, ни обещаний.

Изольда помнила его взгляд — тягучий, маслянистый, от которого по спине бежали мурашки, а волосы на затылке вставали дыбом. В его светло-серых, почти прозрачных, как у старого рыцаря с фамильного портрета, глазах не было ни тепла, ни любопытства, ни даже жестокости — ничего. Только пустота, искусно прикрытая вежливой, ледяной учтивостью, как бархатная перчатка скрывает стальную поножь. Он напоминал ей шкатулку из слоновой кости, внутри которой, меж шёлковыми подкладками, зияла крошечная, первобытная тьма.

— Дочь, — раздался за дверью голос отца — сиплый, надломленный, словно его владелец только что пробежал добрую милю. — Ты ещё не спишь?

Изольда вздрогнула и поспешно сунула распятие под подушку, рядом с засохшей веточкой лаванды. Она не хотела, чтобы отец заставлял её на коленях — он не жаловал внешние проявления веры, называя их «женскими истериками» и «простонародной слабостью», достойной лишь горничных и трактирных девок.

— Входите, батюшка, — отозвалась она, поправляя шаль и приглаживая непослушные тёмные пряди, выбившиеся из строгой причёски. В её голосе дрогнула едва заметная нота — не страха, но той щемящей усталости, что копится у изголовья долгих ночей.

Дверь со скрипом, похожим на предсмертный вздох, отворилась, и на пороге возник барон Карл фон Лорбах. Когда-то он слыл первым красавцем Вены — высоким, статным, с пронзительными голубыми глазами, густыми бакенбардами и пышными усами, которые он гордо носил, подражая венгерским магнатам. Но ныне от былой красоты не осталось и следа: болезнь, начавшаяся с лёгкого кашля и перешедшая в изнурительную, злую лихорадку, выжгла его изнутри, как неумелый ювелир выжигает примеси из золота, оставляя лишь пустоту. Лицо барона приобрело землистый оттенок, глаза провалились, а длинные тонкие пальцы, на которых блестели старые перстни, дрожали мелкой, старческой дрожью. От него пахло полыньёю и страхом.

— Я должен с тобой поговорить, — произнёс он, опускаясь на край её кровати — тяжёлый, неловкий, словно мешок с камнями. — Присядь, Изольда. Прошу.

Она послушалась, устроившись на маленьком пуфе, обитом выцветшим бархатом, от которого пахло мышами и сухими лепестками роз. В комнате повисла напряжённая тишина, нарушаемая лишь мерным стуком капель о карниз да глухим ворчанием грома где-то за горами. Где-то внизу, в кухонной пристройке, слуги перешёптывались — они всегда перешёптывались в последнее время, словно чуяли в воздухе серу и привкус железа.

— Ты знаешь, что твой дядя сделал мне предложение, — начал барон, и голос его сорвался на шёпот, почти беззвучный. — Предложение... необычное, даже странное, скажу я тебе. Такое, о котором не говорят при свечах.

— Он хочет взять меня в жёны, — ровно сказала Изольда, глядя отцу прямо в глаза — ясно, без тени смущения. — Мне всё известно. Я не слепая и не глухая, батюшка.

Барон вздрогнул, словно от пощёчины, и его лицо дёрнулось в болезненной гримасе.

— Откуда? — выдохнул он, сжимая пальцами край одеяла. — Я не говорил... я никому не говорил, даже духовнику, клянусь. Откуда, дочь?

— Вы говорили во сне, батюшка. — В голосе Изольды не было упрёка, лишь усталая констатация факта. — Четыре ночи подряд вы твердили: «Не отдавай её, Ференц, не отдавай. Это смерть». Четыре ночи, как заклинание. Не знаю, кем вы становитесь во сне — Карлом или кем-то иным, более древним и испуганным, — но я слышала каждое слово. Я не сплю уже давно, отец. Я просто лежу с открытыми глазами и слушаю.

Он отвернулся к окну, и Изольда заметила, как его пальцы, униженные перстнями, сжались в белые кулаки, а костяшки побелели до прозрачности.

— Он предлагает огромные деньги, — сказал он, не глядя на неё, вглядываясь в мутное стекло, за которым плясали тени мокрых ветвей, похожие на скелеты рук. — Сумму, которой хватит, чтобы возродить наш род, прикупить земли в Венгрии, собрать маленькое, но верное войско... твой брат Антон, Изольда, сможет вернуться из ссылки. Мы выкупим его у императора, как выкупают провинившуюся лошадь. Он будет свободен. Он сможет жениться, завести детей...

— А взамен вы отдадите меня, — перебила она, и её голос прозвучал как удар клинка о камень. — Как вещь. Как закладную на имение.

— Он не причинит тебе зла, — резко обернулся отец, и в его глазах вспыхнул лихорадочный, почти безумный огонь. — Он поклялся мне на Евангелии, дочка! На старой, семейной Библии, которая принадлежала ещё его деду. Ему нужна лишь твоя фамилия, твой герб, твоя кровь — чтобы слить два древних рода воедино. Ференц Заборский — последний отпрыск своего клана, все прочие ветви пресеклись или выродились. Ему нужен наследник. Ты родишь ему дитя, и он оставит тебя в покое, выделит тебе крыло в замке, сделает управляющей всеми имениями. Ты будешь жить, как королева.

— Он сам вам это сказал? — усмехнулась Изольда, и в усмешке её слышалась горечь полыни. — И вы поверили? Вы, кто учил меня не доверять ни одному мужчине, кроме как в его корысти? Вы, кто твердил, что единственная честная сделка — та, где ты держишь козырь в рукаве? Неужели вы настолько ослепли от страха, что не видите западни?

Барон понурил голову, и плечи его ссутулились, словно он нёс на них невидимую ношу. Впервые в жизни Изольда увидела, как её отец плачет. Беззвучные, горькие слёзы скатывались по его измождённым щекам, смешиваясь с каплями пота на висках и исчезая в седых усах.

— Я люблю тебя, — вымолвил он, и голос его дрогнул, как струна переламываемой скрипки. — Люблю, Изольда. Больше жизни, больше собственной чести, больше памяти о твоей матери. Но если мы откажем, Ференц пустит нас по миру — он уже скупил все наши долговые расписки через подставных лиц, он держит венских банкиров в кулаке, как стаю цепных псов. Он... — барон запнулся, сглотнул, и кадык его дёрнулся, как у мальчишки, — он пригрозил, что если ты не согласишься, он донесёт императору о моей масонской связи. Он предъявит документы, подписанные моей рукой, и печати ложи, в которой я числился двадцать лет назад.

— Но вы же не масон, — растерянно сказала Изольда, и в её голосе впервые проскользнула нота настоящего, живого испуга. — Вы всегда смеялись над ними, над их ритуалами и тайными знаками, называли их шарлатанами.

— Я был им двадцать лет назад, — прошептал отец, и голос его стал похож на шуршание сухих листьев. — По молодости, по глупости, из желания казаться значительным при императорском дворе. Я дал подписку — кровавую подписку, дочь, — и она у него. Понимаешь ли ты, что это значит? Меня казнят, Изольда. Казнят как изменника, и от рода Лорбахов останутся лишь позор да виселица на городской площади. Твой брат Антон останется в ссылке навечно, твоя сестра Мари никогда не выйдет замуж, а ты будешь нищей, попрошайкой на паперти.

Тишина. Дождь за окном вдруг оборвался, будто само небо затаило дыхание, прислушиваясь к чему-то. Изольда медленно поднялась с пуфа, подошла к запотевшему оконному стеклу и провела пальцем по влажной поверхности, оставляя мутный, извилистый след — словно змея проползла.

— Я соглашусь, — произнесла она так тихо, что отец, должно быть, прочитал это по движению её губ, а не услышал.

— Что? — переспросил он, привстав с кровати. — Что ты сказала, Изольда?

— Я соглашусь, — повторила она громче, и голос её зазвенел, как натянутая струна, готовая вот-вот лопнуть. — В конце концов, я всего лишь женщина, батюшка. Моя доля — быть проданной, как лошадь на ярмарке, или заточённой в монастырь, или выданной за старого разорившегося графа. Если я могу спасти вас и братьев, если моя кровь может выкупить нашу честь... я соглашусь.

Она не обернулась, чтобы не видеть его лица. Она боялась, что, увидев на нём облегчение — то самое, неприкрытое, животное облегчение — возненавидит отца навсегда. А ненавидеть не хотела. Ненависть — липкая, грязная тварь, она разъедает душу быстрее любого проклятия, оставляя после себя лишь пустоту, в которой не растёт даже плесень.

— Изольда... — начал было барон, протянув к ней руку.

— Оставьте меня, — перебила она, и в её голосе послышался металл. — Прошу вас. Оставьте меня одну. Мне нужно... мне нужно собраться с мыслями. Идите, батюшка. И закройте за собой дверь.

Он ушёл, не попрощавшись. Дверь затворилась с глухим, окончательным стуком, и Изольда осталась наедине с собой — с мокрым стеклом, с запахом грозы, с тяжёлым камнем страха в груди.

Долго стояла она у окна, пока за окном не забрезжил серый, безжалостный рассвет, разгоняя тени, но не страх. Где-то за углом, на соседней улице, прокричал петух — надсадно, хрипло, будто его душили. И Изольда внезапно вспомнила слова старой няньки Греты, которую когда-то давно отослали в деревню за то, что она пугала девочку страшными сказками про оборотней и упырей.

«Петух кричит, когда в доме нечисто», — говаривала нянька, крестясь на все четыре угла. — «Он чует, как по ночам распаиваются ворота между мирами, и тогда нельзя ни оглядываться, ни креститься, ибо крест — тоже замок, а замки отворяются только страхом. А страх — он как ключ, дитятко. Он всё открывает».

Изольда улыбнулась воспоминаниям — горько, растерянно. Страх — вот ключ. Странно, раньше она полагала, что ключом к тайнам мира служит знание. Но теперь, стоя у этого мутного окна, глядя на мокрые венские крыши и вслушиваясь в предрассветный петушинный крик, она начинала прозревать: знание лишь разжигает пламя, а страх — это дверь. И сама того не ведая, она уже стоит у порога, и чья-то рука тянется к засову.

Она шагнула к кровати, чтобы прилечь, но в тот самый миг уловила звук. Лёгкий, едва различимый — словно кто-то осторожно царапал ногтями или тонкими коготками внутреннюю сторону стены, прямо за изголовьем.

Изольда замерла, превратившись в слух. Звук повторился, теперь отчётливее, настойчивее. Он доносился из-за старого дубового шкафа, что притулился в углу, — шкафа, который не открывали десять лет, с тех пор, как туда поселился стойкий запах нафталина и истлевших книг. Говорили, что там хранились бумаги покойной бабки, но никто уже не помнил, какие именно.

Она приблизилась, стараясь ступать бесшумно, босиком по холодному полу. Дверцы были плотно притворены, но в щели меж створок проглядывала узкая, неестественно яркая полоска света — хотя ни свечи, ни лампы в комнате уже давно не горели. Изольда прижалась ухом к тёплому дереву, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле.

Сквозь толстые доски пробивался голос — тихий, хриплый, почти неразборчивый, словно говорящий задыхался. Женский голос, старый, как мир.

«Не соглашайся, — шептала невидимая собеседница, и каждое её слово отдавалось в висках тупой болью. — Не соглашайся, дитя. Кровь — не просто плата. Кровь — это приглашение, которое нельзя отозвать. Ты отворишь дверь, а за ней не рай, не покой, но зеркала... зеркала, где каждый узрит свою гибель, свою истинную суть, и сойдёт с ума от того, что увидит».

Изольда отшатнулась с приглушённым вскриком. Шкаф качнулся, и одна из дверей приоткрылась, издав протяжный, леденящий скрип — словно в доме открыли гроб.

Внутри было пусто. Лишь серая пыль, толстым слоем лежащая на полках, да старая ветошь, что когда-то была рубашкой. Ни души. Ни единого движения.

Но на полу, там, куда она в испуге рухнула на колени, лежала книга. Старая, в чёрном, потёртом кожаном переплёте, с потускневшими медными уголками. На обложке был вытиснен герб — тот самый: разорванная цепь, которая опоясывала раскрытую ладонь, пронзённую шипом розы.

Дрожащей рукой Изольда подняла книгу. На корешке золотом, почти стёртым временем, было вытиснено: «Codex Noctis. Anno Domini 1683».

Книга была тёплой. Как живая. Как грудной младенец, только что взятый на руки. И под её обложкой, Изольда чувствовала это каждой клеткой, билось крошечное, упрямое сердце.

Она медленно, не смея дышать, раскрыла первую страницу. Буквы плясали перед глазами — старый, готический шрифт, выцветшие чернила цвета запёкшейся крови. И первая строка, прочитанная ею, заставила мир вокруг пошатнуться:

«Тот, кто прочтёт это, уже не сможет не прочитать. Ибо знание — не благо, а бремя. И ты, дочь погибели, уже не свернёшь с этой дороги».

За окном, в сером предрассветном небе, грянул гром — сухой, неестественный, как выстрел. И Изольда поняла, что её жизнь только что разделилась на «до» и «после». И «после» начиналось прямо сейчас.

Глава 2

Вена, 14 июля 1791 года. Дом барона фон Лорбах. Утро, что не сулит просвета, но дарит выбор.

Изольда не сомкнула глаз до рассвета. Книга в чёрном переплёте лежала под подушкой, и она ощущала её живое тепло даже сквозь гусиную перину — странное, нечеловеческое тепло, которое не походило ни на жар натопленной печи, ни на лихорадочный огонь больного тела. Оно отдавало сыростью и привкусом морской воды, будто фолиант дышал испарениями из неведомых пучин, из тех глубин, где солнце не светит никогда, а время течёт вязко, как патока.

Дважды за ночь она тянулась, чтобы раскрыть *Codex Noctis*, но пальцы сами сжимались в кулак — нутряной, древний голос, не разума, а самой плоти, нашептывал изнутри: *«Рано. Ты не созрела. Дай ночи выпить твой страх»*. И она подчинялась, ибо шёпот этот исходил не из трусости, а из тысячелетнего опыта, что веками оседал в женских костях, передаваясь от прабабок, которых сжигали на кострах за то, что они слишком много знали о соли и крови.

Когда мутный, молочный рассвет залил стёкла белесой пеленой, Изольда наконец поднялась с постели. Платье, в котором она просидела всю ночь, измялось до неузнаваемости, тёмные волосы спутались в колтуны, под глазами залегли синеватые тени — она походила на собственный призрак, на ту девушку, какой могла бы стать, если бы умерла год назад от чахотки. Но именно в этом полусне, на грани яви и грёзы, она чувствовала себя по-настоящему живой — каждая клетка тела звенела, как натянутая струна, готовая вот-вот лопнуть.

Она взяла книгу, открыла наугад. Листы были плотными, с пожелтевшими, словно обожжёнными, краями, исписанные мелким, почти каллиграфическим почерком — женским, она определила сразу: мягкие округлости внезапно обрывались резкими крючками, будто писавшая то и дело останавливалась, задумываясь, обмакивая перо не в чернила, а в собственную кровь. Буквы пахли лавандой и чем-то горьким, напоминающим полынь.

Первая запись датировалась 12 сентября 1683 года — день, когда Вена сбросила османскую осаду и город утонул в колокольном звоне и ликующих криках. Но текст не пел о победе. Он был исповедью, выцарапанной на пергаменте дрожащей рукой.

> *«Мой супруг, граф Эрнест Заборский, воротился с поля не героем, а обезумевшим. Вместо трофеев он привёз соль — мешки, которые сам выскреб из копей под Шварценштейном, где турки держали пленных. Он утверждал, что эта соль — не простая, а слёзы утопленников, и что отныне каждый в нашем роду будет носить её в своей крови. Я перепугалась, хотела бежать, но он запер меня в библиотеке и заставил твердить вслух старые хроники — о том, как германские рыцари торговались с духами подземелий, отдавая им своих первенцев за право владеть рудниками. А после... он принёс зеркало. Не стеклянное, а из полированной соли, добытой на самой глубине. В нём я узрела не своё лицо, а лик старухи, умирающей в муках среди белых глыб. Он расхохотался и сказал: «Теперь ты знаешь свой удел. Но спасёшься, если родишь мне сына». Я родила — моего бедного Ференца. Но с той поры я не могу жевать хлеб без соли — она всё время кажется мне пресной. И всякий раз, касаясь солонки, я слышу подземные голоса. Они стонут на чужом языке, но я понимаю каждый звук: «Ты уже скрепила договор. Твоя плоть — наша соль».»*

Изольда перевела дух, чувствуя, как горло сдавливает ледяной обруч. Пальцы дрожали так сильно, что буквы начинали расплываться. Эта запись принадлежала её прапрабабке — первой жене первого графа Заборского, той самой женщине, чей портрет висел в дальней галерее с занавешенным лицом. Не выдумка, не предание, а свидетельство живого человека, который знал страх и боль, который касался соли и слышал голоса мёртвых.

Она перелистнула страницу — дальше шли нечитаемые строки, чернила выцвели до бледной охры, слова проступали лишь под определённым углом, когда на них падал косой утренний свет. Изольда поднесла книгу к оконному стеклу, пытаясь разобрать хоть что-то, и в этот самый миг с нижнего этажа донёлся крик.

Крик отца — но не его обычный, хриплый баритон, которым он отчитывал слуг, а какой-то надрывной, звериный, полный животной паники, какой бывает только у человека, внезапно осознавшего, что он умирает.

Изольда швырнула книгу на кровать — та упала на перину с глухим, живым стуком, будто в ней билось сердце — и вылетела в коридор, не чуя под собой лестницы. Ступени ускользали из-под босых ног, она едва не сорвалась, вцепившись в перила, но не остановилась. На втором этаже разило гарью и кислятиной — запах, который она знала слишком хорошо. Это был дух рвоты, смешанный с привкусом горелого миндаля. И чего-то ещё — солёного, резкого, напоминающего прибой.

Ворвавшись в столовую, она застыла как вкопанная. Барон Карл лежал ничком, опрокинув тяжёлый дубовый стул, лицо его было мертвенно-бледным, почти синюшным, губы покрывала белая пена, в которой поблёскивали крошечные кристаллы. Рядом валялась тарелка с недоеденной кашей — в ней ясно просматривался странный осадок, не сахарный песок и не мука, а крупные, неправильной формы кристаллы, похожие на морскую соль, но с голубоватым, зловещим отливом. Над отцом хлопотал старый слуга Йозеф — трясущимися руками он пытался влить барону воду из кубка, но та вытекала обратно по подбородку, смешиваясь с пеной.

— Что стряслось? — крикнула Изольда, бросаясь к отцу и падая на колени рядом с ним. — Йозеф, говори! Кто это сделал?

— Не ведаю, барышня, — залепетал слуга, и его седая голова тряслась, как осиновый лист. — Пан барон отведал завтрак, как обычно, я сам подавал, сам мешал кашу, а потом вдруг закашлялся, схватился за горло, глаза вылезли из орбит, и он рухнул. Я слышал хрип, будто давится костью, но кости-то не было...

— Отравление, — раздался голос из дверного проёма — низкий, спокойный, почти равнодушный, как у хирурга, привыкшего к виду крови.

Изольда обернулась, инстинктивно прикрывая отца своим телом. На пороге стоял незнакомец — высокий, сухой, словно выточенный из старой кости, облачённый в чёрный дорожный плащ поверх чёрной же сутаны, без единого цветного пятна. Его лицо скрывала серебряная маска, закрывавшая верхнюю половину, оставляя на виду лишь тонкие бескровные губы и острый, словно отточенный подбородок. В правой руке он держал книгу — точную копию *Codex Noctis*, но в красном, кровавом переплёте, с медными уголками, на которых виднелись странные царапины, похожие на письма.

— Кто вы? — выпалила Изольда, чувствуя, как в груди клокочет ярость и страх, смешанные в один вязкий ком. — Как вы вошли? Здесь заперты все двери!

— Дверь стояла открытой, — ответил он ровно, без тени улыбки. — Ваш садовник вышел за травами и забыл запереть калитку. Меня зовут Амброз. Некогда — инквизитор Священного Трибунала, брат-доминиканец. Теперь — бродяга, собирающий крохи правды о том, что зовут «проклятием Заборских». И я опоздал, как всегда. Смерть всегда приходит раньше моих предостережений.

Он приблизился к барону, отодвинув Изольду с лёгкостью, которая не соответствовала его сухому телосложению, нагнулся, принялся к тарелке, не касаясь её. Затем выудил из внутреннего кармана плаща серебряную ложку, зачерпнул осадок и поднёс к свету, сощурившись.

— Кристаллы, — сказал он, не глядя на Изольду. — На вид — обычный хлорид натрия, пищевая соль. Но с добавкой. Видите голубоватый отлив в глубине кристалла? Это литий — редкая примесь, которую находят только в шварценштейнских копях. Его кладут в соль, которую дают шахтёрам, чтобы они не теряли рассудок от многолетнего однообразия. Но в больших дозах он убивает, разрывая сосуды изнутри. И перед смертью являет жертве видения — последние, самые яркие, самые правдивые.

— Кто осмелился? — выдавила Изольда, сжимая холодеющее тело отца в своих объятиях. Дыхание барона становилось всё реже, поверхностней, с каждым вздохом он будто проваливался в глубокий колодец. — Кто подсыпал эту гадость в его еду?

— Тот, кто знает о рудниках, — жёстко произнёс Амброз, и в его голосе впервые прозвучала сталь. — Тот, для кого ритуал — не пустой звук, а единственный способ сохранить власть. Я слежу за вашим дядей, графом Ференцем, третий год. Он не просто вельможа, играющий в политику, — он посвящённый. Он верит, что соль — это кровь земли, застывшая в кристаллах, и через кровь можно передавать проклятие, как передают письма или долговые расписки. И он уже начал, барышня. Он отравил вашего отца не ради убийства как такового — ради закрепления сделки. Смерть барона — это печать под договором, скреплённая не воском, а жизнью.

Изольда заметила, как отец приоткрыл глаза — мутные, затянутые пеленой, но в них читалось осознание, ясное, острое, как бритва. Он попытался заговорить, но из горла вырвался только булькающий, предсмертный хрип. Она наклонилась почти вплотную к его запёкшимся губам, чувствуя запах соли и гнилой воды.

— Соль... — выдохнул барон, и его голос был подобен скрежету камней. — Изольда... он дал мне соль... но не из солонки... из-под замка... я видел её во сне... мы все видели её... твоя мать тоже... не верь зеркалам... они лгут... они показывают только то, чего ты боишься, но не то, что есть...

— Отец! — вскрикнула она, прижимая его голову к своей груди. — Держитесь, умоляю! Йозеф, зовите врача!

Но барон уже не слышал. Голова его бессильно запрокинулась, глаза закатились под веки, и последний вздох оборвался сухой, короткой судорогой, будто кто-то перерезал невидимую

струну. Изольда сидела на полу, прижимая к груди мёртвое тело, и смотрела в никуда, на пустую стену, на которой висел старый гобелен с изображением охоты. Слёзы не приходили — только холодная, твёрдая пустота разрасталась внутри, словно соляной кристалл, заполняя все уголки души, вытесняя тепло и надежду.

— Остерегайтесь, — тихо произнёс Амброз, протягивая ей руку с неестественно длинными, бледными пальцами. — Ваш батюшка мёртв, но его кончина — лишь прелюдия. Графу нужны вы, именно вы — как сосуд, как новый носитель проклятия. Он не хочет убивать вас, он хочет завладеть вашей волей, вашим телом, вашей кровью. И если вы поедете с ним в Шварценштейн, станете его жертвой, как все женщины вашего рода, начиная с той, что написала первую страницу этой книги.

Изольда медленно поднялась, отряхнула юбки, на которых остались тёмные пятна отцовской рвоты, и в упор посмотрела на инквизитора — туда, где под серебряной маской должны были быть глаза. Она не видела их, но чувствовала на себе их холодный, изучающий вес.

— Вы ошиблись, — ответила она голосом, которого сама не узнала, — стальным, звенящим, как лезвие, только что вынутое из ножен. — Я не буду жертвой. Я стану его гибелью. Я войду в его дом, в его рудники, в его тайны, и я уничтожу всё, что он создал.

— Отвага похвальна, — усмехнулся Амброз, и в этой усмешке слышалась горечь старого, уставшего человека. — Но отвага не спасёт от того, что ждёт вас в соляных зеркалах. Я знаю, о чём говорю. Я сам спускался в те копи сорок лет назад, когда был молод и верил в торжество веры. Я видел такое, что превратило меня из слуги Божьего в человека, который верит лишь в одно: истина всегда солонее лжи, и соль никогда не прощает тех, кто её предаёт.

— Тогда вы поедете со мной, — сказала Изольда, и в её голосе прозвучала сталь, которую она не подозревала в себе до этого мгновения. — Будете моими глазами, пока я не научусь видеть то, что скрыто. И если мой дядя — душегуб и колдун, мы это докажем, даже если для этого придётся сжечь все его соляные амбары дотла.

Амброз долго молчал, вглядываясь в неё сквозь прорези маски. Тишина затянулась, и за это время Изольда успела услышать, как внизу, в кухне, кто-то уронил кастрюлю, как за окном прокричала ворона, как ветер колышет мокрые ветви липы. Потом он медленно покачал головой.

— Я поеду, — произнёс он, и его голос стал мягче, почти человеческим. — Но не ради правосудия, которое в этом мире давно стало товаром. И не ради вашей безопасности, ибо её не существует там, куда мы направляемся. Я поеду ради того, чтобы узреть, что зеркала покажут о вашей судьбе. Ибо нет на свете зеркала страшнее, чем женское сердце, когда оно выбирает месть. Оно отражает не внешность, а глубину — ту, что не снилась ни одному философу.

Он вынул из-за пазухи небольшой кожаный кисет, туго затянутый серебряным шнурком, и протянул Изольде. Кисет был тёплым, как живое существо, и от него исходил слабый, но отчётливый запах йода и морской тины.

— Возьмите. Это соль из Шварценштейна, добытая на девятом ярусе, там, где воздух становится жидким. Если в пути почувствуете, что утрачиваете себя — что голоса становятся слишком громкими или, наоборот, слишком тихими, — бросьте щепотку в стакан воды и

отпейте. Она возвращает память, ту самую, которую вы не знали, что носите в себе. Но не переборщите: избыток может отнять рассудок навсегда, превратить вас в соляной столп, как жену Лота. Доза — всё, запомните.

Изольда спрятала кисет за корсаж, туда, где билось сердце, — и ощутила, как мешочек пульсирует в такт с ним, будто у них общий ритм. Он был таким же тёплым, как *Codex Noctis*, и она поняла: эти два предмета связаны, как две половины одного ключа.

— Договорились, — сказала она, и голос её не дрогнул. — Готовьтесь. Через три дня карета графа отбывает в Трансильванию. Я буду в ней. Вы — на коне, в десяти шагах позади, чтобы не привлекать внимания. Вы узнаете меня по синему плащу с серебряной пряжкой.

— Я встречу вас у городской заставы, у старого эшафота, — ответил Амброз и бесследно растворился в утренней полумгле, будто тень, смытая первым лучом солнца. Пол под его ногами не скрипнул, дверь не хлопнула — он исчез, как исчезает дым, оставляя лишь запах ладана и старого пергамента.

Изольда осталась одна. На полу лежал мёртвый отец, прикрытый наспех брошенной скатертью, на столе — тарелка с отравой, в воздухе витал горький привкус страха, а наверху, под подушкой, ждала книга, где была записана история проклятия, передаваемого через соль и кровь, через женские слёзы и мужское безумие.

Она медленно вышла из столовой, не оглядываясь на тело, — она знала, что если оглянется, то сломается. Поднялась в свою спальню, взяла *Codex Noctis*, прижала к груди и села на кровать, глядя на мутное окно, за которым разгорался душный июльский день. Пальцы сами, без её воли, раскрыли том на новой странице — словно невидимая рука направила их, зная, что именно сейчас ей нужно это прочесть.

Запись датировалась 1690 годом. Другой почерк — мужской, резкий, угловатый, с сильным нажимом, будто писавший вдавливал перо в бумагу с яростью.

> *«Я, граф Ласло Заборский, удостоверяю собственной рукой и печатью: проклятие не миф, не сказка для крестьян. Мы получаем соль из копей не задаром — мы платим за неё первенцами. Если в роду рождается мальчик, он обязан провести три ночи в соляном гроте в полном одиночестве, без света, без пищи, без воды. Если он возвращается безумным — соль приняла его душу, и он становится одержимым. Если не возвращается вовсе — соль отвергла его, и он растворяется в ней, становясь частью стен. А если возвращается целым, с ясным умом — он становится истинным наследником, и проклятие переходит к нему. Я сам прошёл этот путь, и я видел лица в соляных стенах — лица моих предков, которые ждали меня. Но я не желаю, чтобы мой сын пережил то же самое. Я хочу спалить эти копи дотла, засыпать их землёй и забыть о них навсегда. Но я не могу, ибо соль — наша плоть, наша кровь, наша суть. Мы — соль земли. И когда умрём, рассолимся в небытие, не оставив после себя ничего, кроме мокрого пятна на камне». *

Изольда захлопнула книгу, и гулкий стук переплёта отозвался в тишине комнаты, как удар колокола. Слёзы наконец хлынули — горячие, быстрые, солёные, они падали на чёрную кожу, оставляя влажные пятна, похожие на те самые соляные разводы, о которых говорилось в записях.

Она знала: пути назад уже нет. Она войдёт в соляные штольни, встретится с проклятием лицом к лицу, заглянет в зеркала, которые показывают не лица, а судьбы, и либо уничтожит это наследие, либо сама станет его частью, очередной страницей в книге, которую никто не прочитает.

Но выбора у неё не было. Как и у её отца, как и у той женщины, что писала в 1683 году, как у графа Ласло, что мечтал о пожаре, но боялся пепла.

И в этом мире, где правда горчит, словно неразбавленная соль, а ложь сладка, как мёд, Изольда фон Лорбах избрала горечь. Ибо горечь никогда не обманывает. Горечь не оставляет после себя сладкого послевкусия, она не шепчет утешительных слов, но она — единственное, что остаётся, когда всё остальное испаряется.

Она поднялась, подошла к окну и долго смотрела на серые венские крыши, на дым из печных труб, на редких прохожих, которые торопились по своим делам, не ведая о том, что в этом доме только что умер человек, а в душе его дочери родилась месть, такая же твёрдая и жгучая, как соляной кристалл.

— Я приду за тобой, дядя, — прошептала она, касаясь пальцами стекла. — Я приду не как невеста. Я приду как гроза.

И где-то в глубине книги, в самом её сердце, меж страниц, которые никто не открывал столетиями, дрогнула одна строка — и на ней, свежими, ещё влажными чернилами, проступило новое слово, которого там не было раньше:

«Она идёт».

Глава 3

Вена, 16 июля 1791 года. Особняк фон Лорбах. День отпевания, когда воздух становится гуще воды.

Траурный зал дышал воском и тлением. Тридцать свечей — не двадцать, как положено по обычаю, а тридцать, ибо барону было тридцать лет, когда он вступил в масонскую ложу, — мерцали в тяжёлых медных канделябрах, отбрасывая на чёрный креп стен пляшущие тени, похожие на согбенные фигуры невидимых плакальщиц. Свет дрожал от сквозняков, которые тянули из щелей старых окон, и каждый язычок пламени клонился к гробу, будто хотел лизнуть безжизненное лицо, проверить, не осталось ли в нём тепла. Воздух был спёртым, густым, пахло ладаном, сыростью и ещё чем-то солёным, едва уловимым, — тем же привкусом, что преследовал Изольду с той самой ночи, когда в дом вошло письмо из Трансильвании.

Она стояла у изголовья гроба уже третий час, не двигаясь, не моргая, вросшая в паркет, как соляной столп, только что не обращённый в кристалл. Чёрный креп туго обтягивал стены, поглощая звуки, и даже шёпот слуг в прихожей казался приглушённым, словно доносился из-под воды. Редкие посетители — старый Йозеф, две кухарки, что тихо всхлипывали в дверях, да пара соседей, явившихся по долгу светской вежливости, а не от душевной боли, — топтались на пороге, не смея приблизиться. Они боялись не смерти, а той ледяной ауры, что исходила от барышни, — отчуждённой, почти нечеловеческой.

Слёзы не шли. Вместо них внутри разрасталась ледяная корка, глушившая все чувства, кроме одного — острой, как скол стекла, ненависти. Изольда смотрела на безмятежное лицо отца — смерть словно сгладила все морщины, все следы недавней тревоги, придав ему облик фарфоровой маски, — и не узнавала его. Перед ней лежала не плоть живого человека, а восковая копия, грубая подделка, которую природа слепила второпях, чтобы скрыть ужас угасания. Губы барона были сжаты, веки сомкнуты, но в уголках губ застыла тонкая белая полоска — не пена, а кристаллический налёт, который она заметила только сейчас, пристально вглядевшись. Соль. Даже в смерти отец носил её печать.

Изольда протянула руку, почти коснулась его губ, но отдернула пальцы, будто обожглась. Нет. Не сейчас. Она не даст дяде превратить отца в посмешище, не позволит его плоти стать экспонатом в соляном музее проклятия.

— Барышня, — шепнул Йозеф, коснувшись её локтя дрожащей рукой, и его голос сорвался, как струна, — пан граф прибыл. Он уже у ворот, один, без свиты. Прикажете впустить?

Она медленно обернулась. Шея затекла, и каждый поворот головы отдавался тупой болью в затылке, но она не обратила на это внимания. В приотворённой двери вырисовывался высокий силуэт в чёрном — фигура, чуждаядерная всей этой комнатной скорби, как чужеродный минерал в живой ткани. Граф Ференц Заборский шагнул внутрь без стука, без приглашения, точно в собственные покои, неся за собой запах можжевельника, сырой земли и ещё чего-то металлического, похожего на ржавчину. Сапоги его тяжело били по паркету, и всякий раз, когда подошва касалась пола, пламя свечей вздрагивало, словно боялось его приближения.

Он остановился у гроба, снял чёрную шляпу с серебряной пряжкой, на мгновение склонил голову — но Изольда заметила: взгляд его не задержался на покойном ни на миг. Он скользил по теням, по углам, ощупывал каждую щель, каждую драпировку, искал соглядатая, а не умершего. Его серые, почти бесцветные глаза, в которых не было ни зрачков, ни отражений, блуждали по комнате, как пауки по паутине.

— Прими мои соболезнования, — произнёс он голосом бархатным, но ледяным, словно он читал не речь утешения, а торговый договор. — Карл был человеком чести, насколько это вообще возможно в наши дни. Жаль, что мы не завершили наши договорённости при его жизни. Теперь все хлопоты лягут на твои хрупкие плечи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.